

Интриги господина Утина

1871, источник: [здесь](#). Текст подправлен с использованием оригинальной рукописи Бакунина, хранящегося в Амстердамском институте социальной истории.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Впервые рукопись эта, написание которой относится к июлю-августу 1870 года, была опубликована в 1925 году в январском номере журнала «Голос Труженика», издающегося в Чикаго. Рукопись эта была предоставлена журналу Максом Неттлау и воспроизведена, как сообщает редакция, с сохранением всех грамматических и стилистических особенностей оригинала, но по новой орфографии. Написан оригинал по-русски. Так как подлинная рукопись находится в личном архиве Макса Неттлау и оказывается для нас недоступной, мы воспроизводим статью в таком виде, как она напечатана в американском журнале.

Статья эта принадлежит к той серии задуманных, но не выполненных обличительных произведений Бакунина, которыми он намеревался «покончить» со своими противниками. Но, подобно тому, как это однажды случилось с другими его аналогичными намерениями, статья по поводу интриг господина Утина осталась не оконченной. Начав писать специально об Утине, Бакунин, по обыкновению своему, увлекся экскурсией в область теоретических рассуждений о воле и воспитании, о личности и обществе, о свободной мысли и о том, может ли человек сохранить свою нравственность в безнравственных условиях и т. п. Эти соображения, к сожалению, оборванные буквально на полуслове, придают интерес этой неоконченной работе, хотя она и не дает ничего нового по сравнению с другими писаниями Бакунина. В смысле полемических красок она также ничего не прибавляет к тому, что имеется в письме в газету «Reveil», которое написано в более резких тонах.

То обстоятельство, что полемические произведения Бакунина всегда фатально оставались незаконченными, дает основание предполагать, что в глазах самого Бакунина эти произведения, вероятно, теряли свою силу, лишь только изливалось на бумагу негодование, которое заставляло Бакунина братья за перо.

— Вячеслав Полонский (советский историк-марксист).

Интриги господина Утина.

Чрезвычайно неприятно говорить о личных делах. Еще неприятнее распространяться о проделках маленького господина, который только из того и бьется, чтоб о нем говорили, но вся личность которого не стоит траты слов. Есть люди, однако, которые, при всей

микроскопичности сил, ума и других достоинств своих, одарены одной громадной способностью – способностью обратить на себя невольное внимание всякого, имевшего несчастье встретиться с ними.

Эти люди похожи на комаров. Комар – животное не большое и не сильное, но зато в высшей степени несносное. Одним жужжанием своим он может вывести из терпения человека самого равнодушного и терпеливого. К тому же природа одарила его жалом, правда микроскопическим, но наполненным ядом, и он щекочет вас им, жужжа в ваших ушах свою вызывающую песнь победы, до тех пор, пока выведенные из терпения, вы его не прихлопнете.

Вот уже более года, как господин Утин привязался ко мне как комар. Пора же и мне поступить с ним, как с комаром поступают.

* * *

В первый раз встретился я с господином Утиным в Лондоне в октябре 1863 года. До тех пор самое существование его было мне неизвестно. Огарев представил мне его как одного из бежавших членов комитета общества «Земли и Воли», что, впрочем, не могло его возвысить в моих глазах, так как этот комитет, по свидетельству нашего покойного друга Потемкина, состоял большей частью из мальчиков, игравших в революцию и в тайные общества[1].

Двухчасового разговора с господином Утиным было достаточно, чтобы убедить меня, что он принадлежал не к серьезным членам этого комитета. Маленький господин с большими претензиями – вот все впечатление, вынесенное мной из первой встречи. Впрочем, впечатление это было так слабо, что в продолжение четырех лет, проведенных мной потом в Италии (от начала 1864 до сентября 1867 года), я успел забыть совершенно черты его лица и, вероятно, позабыл бы самое имя его, если бы время от времени до меня не доходили смутные слухи о скандальной войне, поднятой господином Утиным против А. И. Герцена.

Во второй раз встретился я с ним в сентябре 1867 года в Женеве, на первом конгрессе Лиги Мира и Свободы. В этот раз он произвел на меня самое странное впечатление – впечатление тщеславно-беспокойного жидка, лезущего из кожи для того, чтобы сделать себя во что бы то ни стало и каким бы то ни было средством известным. Первым словом его было: «Я объявляю всем, что я партизан[2] Бакунина, а не Герцена». И в самом деле несколько французских членов конгресса, обратились ко мне с вопросом: «ce que c'est donc que ce Monsieur, qui vient déclarer à tout le monde qu'il est votre partisan et non celui de Herzen?»[3]. Я должен был признаться, что я этого господина совсем или почти совсем не знал, не знал, откуда и за что мне сия благодать.

После конгресса господин Утин снова куда-то исчез. Я поселился подле города Веве у Н. И. Жуковского. Жуковский задумал и предложил мне издавать вместе с ним русский журнал. Он страстно предался этому предприятию. Не было денег, он достал денег: один русский знакомый, которого я назову г-н X, дал ему тысячу рублей на издание журнала.

Признаюсь, что я долго не поддавался на предложение Жуковского. Я был исключительно занят интернациональной пропагандой, боялся, что издание русского журнала возьмет у меня слишком много времени; к тому ж с Россией не имел более никаких сообщений, а с другой стороны, наученный опытом А. И. Герцена, опасался слишком близкого соприкосновения с русской эмиграционной грязью, в которой злостно-клеветливое празднословие и сплетни заступают место великого дела. Однако горячее упорство Жуковского победило мою неохоту. Мы решились издавать вместе «Народное Дело».

В это время, то есть около конца зимы 1868 года, появился вновь господин Утин, и на этот раз в продолжение нескольких месяцев, прожитых вместе, я успел узнать его досконально.

Прежде всего поразили меня его драматизм, фразерство, а потом его непроходимая бестолковость. Редко я встречал в человеке такое отсутствие простоты в мысли, в чувстве, в слове и в деле. Вечно преследуемый мыслью о самом себе, этот несчастный человек в самых обыденных поступках, в малейших проявлениях своей страдальчески-исковерканной личности, силится доказать себя и себе, и другим. Он не умеет ни есть, ни пить просто; не может позабыть ни на одну минуту, что он страшный революционер и конспиратор, неумолимый террорист и, вместе с тем, человек, обрешивший себя на великий подвиг и на высокую жертву, на мучение, на верную гибель для спасения человечества вообще и России в особенности. Эта фраза, перешедшая в него вероятно, вместе с восточной кровью, воплотилась во всем его существе. Она делает его в одно и то же время беспрестанным мучеником и комедиантом и – увы – неутомимым интриганом.

Вечное позирование, рисование и становление себя на подмостки, тщеславные и пустозвонно-великодушные речи, одним словом, весь этот выпендренный и комический драматизм маленького человека, тщетно силившегося сделаться чем-нибудь, действует отталкивающим образом на всякого серьезного человека, особенно на мужчин; но зато нередко производит действие обаятельное на женщин, ищущих впечатлений и содержания. Вот почему у господина Утина приверженцев немного, но зато есть с полдюжины поклонниц, принимающих его мишуру за чистое золото и приносящих ему немалую пользу. Посредством их распространяет он свои клеветы, расставляя сети свои, ловит новых людей и сооружает себе пьедесталик.

Чтоб убедиться в умственной несостоятельности господина Утина, довольно прочесть несколько номеров издаваемого им «Народного Дела», начиная от второго. В первом номере он не участвовал, я имел терпенье прочесть их все, от доски до доски, и пусть убьют меня, если я в состоянии передать то, что в них сказано. Редкая способность наговорить множество слов, более или менее красивых и звонких, и не высказать ни одной мысли. Цель у этого несчастного журнала, по-видимому, только одна: поведать миру, что революция есть революция и что господин Утин пророк ее! Недаром покойный Серно-Соловьевич сказал мне, незадолго перед своей смертью, в присутствии нескольких женевских членов интернационала: «Утин своими отвратительными революционными фразами заставил меня возненавидеть самое слово революция»[4].

Все статьи в «Народном Деле» написаны почти исключительно господином Утиным и свидетельствуют, правда, о его неутомимой, но вместе с тем и совершенно бесплодной

работе. Каждую статью этого журнала можно сравнить с щегольским, разумеется, всегда красивым футляром без всякого содержимого. Есть смутные, недодуманные представления о всевозможных предметах. Видно, что господин Утин многое слышал, читал и ничего не понял. Представления его перепутаны самым комическим образом, друг с другом как-то не вяжутся и большей частью уничтожают друг друга, так что на той же самой странице вы найдете и положение и опровержение его, и последний результат каждой статьи оказывается почти всегда равным нулю; а над всей вереницей ненужных слов парит торжествующее «Мы» потомка царя Давида, не могущего ни нарадоваться на себя, ни наговориться о себе досыта. Литературное хвастовство господина Утина разве может быть сравнено только с его хвастовством житейским. Оно доходит до уморительного пафоса: «Когда Мы сложим свои головы» (а головы всегда остаются пусты и целы); «Мы докажем в будущем номере» (а ведь никогда ничего не докажут); «Мы напишем такую историю, какой еще никогда не было»... и т. д. Одним словом в этих статьях весь господин Утин. Он не пожалел себя, не скупился собой, дал свое лучшее, и это лучшее оказалось ни к чему не пригодным.[5]

А ведь нельзя сказать, что господин Утин не трудился серьезно, что он легкомысленно приступал к делу. Напротив, я мало встречал русских людей, трудящихся, как трудится он. Он мученик, он страдалец, он Тредьяковский в изучении вопросов политических и социальных. Вечно обложенный книгами, как старая дева пластырями и шпанскими мушками, он роется в них с утра до вечера, ищет в них фактов, которые старается заучить наизусть. Но это множество самых разнородных фактов, которыми он старается наполнить свою бедную голову, не только не обогащают, напротив, окончательно добивают ее. Он одарен замечательной неспособностью мыслить, понимать, схватывать сущность, настоящий характер предмета. Голова его так устроена, что каждый факт остается в ней разрозненным, бесплодным, сухим фактом, не способным породить соответствующую ему мысль, и потому не способным сгруппироваться с другими однородными фактами в стройную логическую систему. Факты связаны в его голове только памятью, и лишь только он хочет употребить их на дело, доказать ими что бы то ни было, они уничтожают друг друга. В этом состоит трогательная, трагическая сторона его истинно мученических умственных усилий, – сторона, объясняющая и извиняющая очень многое. Он бежит за мыслью, а мысль бежит от него и никогда ему не дается. Мудрено ли, что истомленный и доведенный до отчаяния вечной неудачей, пораженный глубоким равнодушием публики к самым усиленным произведениям его головы и пера, он бросил служение делу и стал искать значения, силы и славы в интриге?

Впрочем, если никакой предмет ему не дается, то причины этому нужно искать не в одной только умственной неспособности, но также и в существенном нравственном недостатке. Предмет дается только тому, кто сам отдается ему и умеет забыть себя в нем совершенно; кто, отказавшись от личных любимых фантазий и от личного произвола и отложив в сторону все собственные, частные интересы, материальные, честолюбивые и тщеславные, ищет в предмете только присущей ему логики, мысли. – Ну, к этому самозабвению в предмете господин Утин всего менее способен. Приступая к какому бы то ни было общему вопросу, он задается прежде всего следующим совершенно личным вопросом: «Какое место займу я в нем? Как должен я к нему относиться, в видах моего честолюбия и славобудия?»

Такое яростно-личное отношение ко всякому вопросу и делу, сопряженное с совершенной теоретической несостоятельностью, должно, разумеется, породить много нелепостей, а также и гадостей.

* * *

Со времени приезда господина Утина в Веверзе, я сделался ежедневным свидетелем горячих споров между ним и Н. И. Жуковским. Жуковский стоял за народ и за жизнь. Господин Утин отстаивал против него диктатуру университетской, более или менее доктринерно-настроенной молодежи и верховное право отвлеченной, вненародной и к народному варварству и невежеству аристократически относящейся науки. Жуковский отнюдь не отвергал науки; напротив, он был всегда убежден в необходимости ее для очеловечения человека. Он думал только, и по-моему совершенно справедливо, что наука не последняя цель, а вместе с практическим делом, которое становится тем успешнее и тем шире, чем более оно руководится научным знанием, должна быть одним из главных средств для жизни; и что жизнь для человека, так же как и для животного, – для человека, разумеется, жизнь человеческая, то есть обнимающая полноту развития и удовлетворения всех его способностей и потребностей, а следовательно, также и потребность знания, науки, – все-таки составляет последнюю цель общества и всякого человека. Как последовательный материалист, реалист и социалист, он думал, вместе с Аристотелем и Прудоном[6], что на первом череду стоит вопрос об удовлетворении материальных потребностей и вещественных условий человеческой жизни, и что удовлетворение потребностей идеальных должно быть плодом, результатом, а не основанием и не причиной удовлетворения первых; что, одним словом, вопрос о хлебе насущном стоит теперь впереди, а что за ним следует вопрос о науке – и в этом я был с ним совершенно согласен. В этом ведь состоит вся суть нынешнего, практического, народного социализма, в противоположность народо-эксплуатирующей политике.

Между тем Жуковский знал очень хорошо, что при нынешних условиях цивилизации насущный хлеб и материальное благосостояние народа обуславливаются наукой, что прокормление и экономическое благоустройство миллионов невозможно без применения науки к жизни и к общественному делу. Но тут рождался вопрос: каким образом наука приступит к народу?

Путем ли вольной пропаганды, лишенной всякого официального или государственного авторитета; посредством народных школ, основанных и содержимых самим же народом, освобожденным от всякой власти, от всякой верховной опеки? Или посредством государственной власти, перешедшей путем счастливой политической революции из настоящих самодержавных рук в чистые руки революционной, образованной молодежи? Жуковский стоял за первый, путь, господин Утин, разумеется, за второй.

Жуковский, так же, как и я, ненавидит всякую власть и думает, что самому лучшему человеку достаточно стать властью имущим или политически-могущим для того, чтобы превратиться рано или поздно в негодяя, в эксплуататора народного благоденствия, в утеснителя народной свободы.

В самом деле, власть, всякая власть, равно как и всякая привилегия, всякое установившееся общественное преимущество заключает в себе начало зловерное и столь могущественно развращающее, что никакая личность, как бы крепка она ни была в умственном и нравственном; отношении, не в силах устоять долгое время против вытекающей из него порчи, – начало постоянного общественного поощрения личному эгоизму, превозвышению, тщеславию, самоволью, деспотизму, честолюбию и корыстолюбию, одним словом, всем мерзким страстям, которыми человеческая природа так богата, и которые, помимо личного произвола, личных добродетелей или личных пороков людей, облеченных привилегиями или властью, становится непременно результатом того исключительного положения, в которое эти люди поставлены.

Таков общий закон, закон, не допускающий ни малейшего исключения. Возьмите самых самоотверженных и чистых людей, известных в истории или воображаемых ей, возьмите, например, Христа и Сократа и представьте себе, что они были бы королями, министрами, воеводами, чиновниками или говоря вообще, какими бы то ни было начальниками. Я говорю ни обинуясь, что они в таком случае сделались бы непременно более или менее скотами: притеснителями, эксплуататорами, душегубами. Ведь они стали, один Христом, а другой Сократом только потому, что они были не начальниками, а жертвами начальства.

Этот вопрос так важен, что я прошу позволения забыть про господина Утина на короткое время для того, чтобы выяснить его лучше, то есть вопрос, а вместе с вопросом, пожалуй, и господина Утина. На разрешении этого вопроса зиждется вся анархическая теория безвластия.

1-й. Может ли человек сохранить всецело свою личную нравственность в среде и в условиях безнравственных?

2-й. Власть и привилегии, не разлученные с ней, не составляют ли главной сути и постоянно действующей причины общественной безнравственности?

На первый вопрос мы, как материалисты и социалисты, должны ответить решительным отрицанием. Мы знаем, что каждый человек во всем объеме и в малейших подробностях своего существа, своих помыслов, чувств, хотений и действий, в каждую минуту жизни своей есть продукт внешней природы и общественной среды, его производших и обуславливающих все существование его до последней минуты. Нам известно, что так называемая свободная воля не что иное, как нервная сила, образующаяся в человеке действием внешних причин и влияний или так называемого воспитания, посредством постоянного упражнения его в удержании невольных или рефлексивных движений, равно как и в покорении второстепенных и преходящих appetitов, хотений, страстей, – главной и постоянной целью, заданной ему или собственной постоянной страстью, внутренним убеждением или могущественным напором общественного мнения.

Нет сомнения, что наибольшее развитие силы воли составляет вместе с силой мысли, а также и вместе со смыслом справедливости или общественного уравнения, со страстью общественной солидарности или человеческого братства – одно из главных условий личного достоинства человека. Спешу прибавить, что, говоря о достоинстве человека, я отнюдь не

придаю этому слову старого идеального значения; беру его не в смысле самородка, зависящего будто бы только от себя и создающего и определяющего себя самовольно, – а в смысле невольного продукта причин внутренних то есть присущих его личному организму, и внешних, то есть материально-экономических и общественно-политических условий среды, его произведшей. Умен или глуп человек; одарен ли он сильной или слабой волей; существует ли в нем страсть справедливости или нет, – он ни в том, ни в другом случае не виноват. Но достоинство его, его личная ценность в одном случае падает, в другом возвышается.

Сила воли обуславливается прежде всего здоровым организмом, но потом и еще более воспитанием; причем нужно заметить, что распушенная система, проповедуемая ныне иод предлогом свободы, и состоящая в безграничной уступке всем хотениям ребенка, далеко не способствует развитию сильной воли. Воля развивается, напротив, упражнением, сначала, разумеется, принужденным, в удержании своих инстинктивных движений и похотей; а с этим постепенным образованием и сосредоточением внутренней силы образуется мало-помалу и сосредоточенность внимания, памяти и самостоятельность мысли в ребенке. Человек, не способный владеть собой, побеждать в себе преходящие похоти воздержаться себя от невольных и вредных движений и действий, не привыкший противостоять внутренним и внешним напорам, – одним словом, не имеющий воли, – просто дрянь.

В древнем, греческом и римском мире главной заботой общественного воспитания было развитие воли, точно так же в нашем новейшем мире главное внимание обращено на развитие знания и мысли. Можно даже сказать, что в настоящее время правительства употребляют все усилия для того, чтобы не дать развиться сильной воле в воспитанниках, вероятно, на том основании, что от воли до свободы не далеко. Этим отчасти объясняется факт несомненный, что в древнее время было больше героев, чем ныне.

Несомненно также и то, что человек, в котором природа и воспитание создали сильную волю, не так легко поддается напору и влияниям общественной среды, как поддается им человек, одаренный лишь слабой волей. Однако, как бы ни был силен человек, общество все-таки сильнее его. Сила его только относительная, сила же общества, в отношении к нему, почти абсолютная. Побороть общество он не может, но, одержимый справедливой или несправедливой страстью и вооруженный непреклонной волей, он может умереть, пасть жертвой за свою страсть, за свое убеждение, за свою мысль, и, если мысль его справедлива, он может победить общество самой своей смертью.

Сильная воля сама по себе ни нравственна, ни безнравственна. Были изверги, одаренные чрезвычайной волей; Нравственность или безнравственность воли зависит от ее содержания и цели. Цель же и содержание даются ей мыслью.

Сила мышления, равно как и сила воли, обуславливается в каждом человеке организмом и воспитанием. Как будет впоследствии, через не знаю сколько веков, когда на всем земном шаре воцарится полнейшее общественное равенство, мы не знаем. Но теперь нет возможности отрицать, что есть организмы, от самого рождения, умные и глупые. Мозговое равенство еще не установилось в человечестве. В утешение можно заметить, что число чрезвычайно умных, гениальных людей, а также число чрезвычайно глупых людей от

рождения, идиотов, в сравнении с массой человечества чрезвычайно мало. Огромнейшее большинство состоит из людей, одаренных способностями средними, умеренными, почти равными, хотя и чрезвычайно разнообразными. А ведь в настоящее время не в меньшинстве, а в большинстве дело.

Большая часть различий, существующих ныне, в умственном отношении, происходит не от рождения, а от воспитания. Сила мышления развивается упражнением в мышлении и правильным, целесообразным руководством детских и юношеских мозгов в великом деле разумного познания. Сила мышления далеко не обеспечивает еще справедливость его выводов. Были и есть люди чрезвычайно умные, одаренные замечательной энергией, даже богатством и строгой последовательностью мысли, которые пороли и до сих пор еще порют дичь. К этому числу принадлежат все богословы, метафизики, огромное большинство прошедших и нынешних экономистов и юристов, именно всех тех, которые смотрят на существующий экономический порядок и на юридическое право не как на преходящие исторические явления, а как на нечто абсолютное. Сила мышления есть, как бы сказать, только формальная сила, применяемая равно и к дельному содержанию, и к нелепости. Она, как уже было замечено выше, обуславливается прежде всего счастливым устройством мозга, а потом и еще в большей мере постоянным, и разумно направленным, и рассчитанным упражнением той мозговой деятельности, которую мы называем мышлением. Способность и привычка мыслить приобретается и развивается точно так же, как и все другие хорошие и дурные привычки нашего организма. Но справедливость выводов и заключений мышления не зависит только от его строгой последовательности и силы. Она зависит настолько же от разумности или от действительности материала, служащего ему предметом. Кем же дается этот материал для мышления? Общественной средой и, прежде всего, общественным воспитанием.

Воспитатели живут и действуют в известном обществе, и во всем своем существе, в малейших подробностях жизни своей, большей частью, сами не подозревая того, насквозь проникнуты его убеждениями и предубеждениями, интересами, страстями, привычками. Они передают их всецело питомцам своим, причем надо, однако, в утешение заметить, что, так как, вследствие естественной склонности человека давить все, что слабее его, почти все воспитатели — притеснители и деспоты, и так как спасительный дух противоречия, этот залог свободы и всякого прогресса, пробуждается в человеке почти с колыбели, дети и юноши обыкновенно ненавидят своих воспитателей, не верят им и, протестуя против их рутинного, общепринятого учения, становятся способными создать или принять новые. Вот одна из главных причин, почему юноши, пока они еще сидят на школьной скамье и не успели еще принять прямого и положительного участия в общественных интересах, более способны, чем совсем взрослые люди, принять новую истину. Но лишь только они оставили школу, лишь только заняли в обществе определенное место и прониклись условиями, привычками, интересами и, как бы сказать, логикой известного, более или менее льготного положения, они, или по крайней мере огромное большинство между ними, становятся наравне со старшими, против которых прежде бунтовали, а иногда даже пуще их рабами общества и в свою очередь притеснителями младшего поколения во имя общественных предрассудков.

Общественная среда и общественное мнение, всегда выражающие материальные и политические интересы этой среды, ложатся тяжелым гнетом на свободную мысль[7], и много надо мысленной силы и еще больше противообщественных интересов и страсти для того, чтобы устоять против этого гнета. Путем положительных, а также и отрицательных действий само общество порождает в человеке свободную мысль, оно же большей частью и подавляет ее.

Человек есть до такой степени общественное животное, что вне общества он немислим. Долго, целые тысячелетия прогуливался человеческий род отдельными стадами по земному шару, прежде чем в общественно-животной среде одного из таких человеческих стад пробудилась вместе с первым словом и с первым проблеском мысли первая самосознательная или свободная личность. Вне общества человек никогда не перестал бы быть неразумным и бессловесным животным, в тысячу раз беднее и зависимее от внешней природы, чем большая часть четвероногих, над которыми он так гордо возвышается ныне; а для того, чтобы создать одну из самых бедных ныне существующих свободных личностей, потребовалось соединение общественных усилий бесчисленного множества поколений. Итак, лицо, свобода и разум лица суть продукты общества, а не общество – создание лиц, и чем выше, чем полнее, чем свободнее развит человек, тем более он есть продукт общества, тем более он получил от него и тем более он обязан ему.

Общество в свою очередь бывает обязано лицам. Можно даже сказать, что нет такого бедного природой, воспитанием и жизнью обиженного лица, которое бы своим слабым трудом, своим еще слабейшим развитием, умственным и нравственным, и рядом своих никем не замечаемых отношении и действий не влияло бы в свою очередь, хоть и в самой микроскопической мере и, разумеется, нисколько не подозревая и не желая того, на развитие общества, его произведшего. Ведь действительная жизнь общества, в каждую минуту его существования, есть не что иное, как сумма всех жизней, развитий, отношений и действий всех лиц, его составляющих. Но эти лица собрались и соединились не произвольно, не по договору, а независимо от своего сознания и воли. Они не только собраны и соединены, но порождены и в материальном, и в умственном, и в нравственном отношении обществом, материальную, умственную и нравственную жизнь которого они выражают и действительно составляют. Поэтому их действие, сознательное, а большей частью бессознательное, на общество, их породившее, есть действие самого общества на себя через их посредство. Они – обществом порождаемые и развиваемые орудия общественного саморазвития.

Смешно представление индивидуалистов школы Жан-Жака Руссо и прудоновских мютюэлистов, воображающих, что общество есть результат свободного договора личностей, абсолютно друг от друга не зависимых и вступающих во взаимную связь и зависимость только в силу заключенных между ними условий. Точно как будто бы эти люди с неба упали и принесли с собой на землю и слово, и волю, и мысль самородные, вполне отрешенные от всякого земного, то есть от всякого общественного происхождения. Да если бы общество состояло из таких абсолютно друг от друга независимых личностей, то им бы не было ни нужды, ни даже малейшей возможности соединиться; не было бы самого общества, а свободные личности, за невозможностью жить и действовать на земле, должны бы были обратным путем улететь на небо.

Человек не создает общества, но рождается в нем, и рождается не свободным, а, напротив, совершенно опутанным, как сын той или другой общественной среды, созданной длинным рядом прошедших влияний, развитий и исторических фактов. Он носит на себе печать того края, того климата, того народного типа, того сословия, тех экономических и политических условий общественной жизни и, наконец, того места, деревни или города, того дома, того семейства и того круга людей, в среде которых он родился. Все это определяет его характер, природу, дает ему определенный язык, навязывает ему, без малейшей возможности сопротивления с его стороны, целый готовый мир созерцаний, мыслей, привычек и чувств и ставит его, помимо всякого произвола и выбора и гораздо прежде, чем в нем могло пробудиться какое бы то ни было сознание, в строго определенные отношения с окружающим его общественным миром. Он становится органичным членом известного общества помимо и прежде всякой воли и, опутанный им внутри и снаружи, проникнутый до конца его верованиями, предрассудками, страстями и привычками, он есть в самом начале не более, как самое невольное и самое верное отражение этого общества.

Поэтому всякий человек рождается и в самые первые года своей жизни остается рабом общества – пожалуй, даже и не рабом, потому что для того, чтобы быть рабом, надо сознавать свое рабство, а бессознательным и совершенно невольным отпрыском своего общества. Каким же образом рождается в нем отдельное самосознание, сомнение, своя мысль, дух и поползновения свободы, дух бунта?

Я уже сказал выше, начало освобождения заключается в спасительном инстинкте противоречия, в самоохраняющем протесте ребенка против чужого насилия. Но этого было бы далеко не достаточно для укрепления образования в нем свободной мысли и свободной воли, если бы его инстинктивному протесту противостоял общественный мир вполне гармоничный, строго сплоченный и не являющий в себе самом ни малейшего противоречия. Где же было бы слабому ребенку или юноше бороться против такого могущества; оно задавило бы и обратило бы его несомненно в раба безвыходного. К счастью для человечества, такого вполне гармоничного общественного строя нет и никогда не было на свете. Всякое общество полно противоречий и представляет собой борьбу нескончаемую [8], борьбу научную, борьбу религиозную, политическую, экономическую; борьбу общества против государства; борьбу партий и сословий в государстве и, наконец, борьбу семейную.

(Рукопись здесь обрывается.)

Локарно, Швейцария

Примечания

[1] Любопытно сопоставить это мнение Бакунина с тем, которое он высказывал об обществе «Земля и Воля» в Швеции в своей речи на торжественном банкете. Вся деятельность Бакунина 1863 года говорила о том, что, вопреки словам Потемки, он все-таки переоценивал силы и значение этого общества. Впрочем, презрительная оценка его становится понятной, если мы примем во внимание, что за время с 1863 года Бакунин второй раз успел разочароваться в тайных революционных начинаниях русской молодежи, в которые увлек

его Нечаев. (Вяч. П.)

[2] Следует это слово понимать как синоним «сторонника», а не как солдата герильи.

[3] «Что это за господин, который всем объявляет, что он вам сторонник, а не сторонник Герцена?»

[4] Замечательно, что в надгробной речи, произнесенной им в память Серно-Соловьевича, господин Утин дерзнул назвать Серно-Соловьевича своим другом. Такова правдивость господина Утина! Та же самая правдивость заставляет его теперь уверять родственников А. И. Герцена, что он всегда был его почитателем. (Примечание Бакунина)

[5] Следующий абзац Бакунин зачеркнул – «Да, редко я встречал человека менее способного мыслить, понимать, схватывать сущность, настоящий характер вопроса или предмета, чем господин Утин.».

[6] «Donnez le pain au peuple, l'idéal lui viendra de lui-même» («Дайте людям хлеб, и идеалы придут к ним сами собой»), Proudhon – «Confessions d'un Révolutionnaire».

[7] Свободную в смысле независимости от рутинных общепринятых мнений. (Примечание Бакунина).

[8] Существуют, однако, две огромные страны в Азии, в которых после многовековой борьбы, доведшей их до значительной степени развития, наступило затишье; борющиеся элементы успокоились, покорились, и окаменелое общество приняло мертво-гармоничный строй, делающий всякое дальнейшее развитие изнутри, всякое самородное национальное движение почти невозможным. Движение без сомнения есть, потому что все, что существует, движется, и борьба продолжается, но это движение и продолжение борьбы так слабы, что для того, чтобы возратить жизнь этим странам, Китаю и Индии, необходимо вмешательство и, пожалуй, насильственное вторжение внешних, чужестранных элементов. Вторжение Европы в Азию пробудит к новой жизни более чем треть всего человечества, огромные массы от 650 до 700 миллионов людей, заснувших мертвым сном, именно вследствие прекращения всякой борьбы, вследствие окончательной победы, одержанной государством над обществом и окаменелой, на привилегии основанную, организацией общества над лицом. Все правительства, все государства без исключения, ставя себе главной целью водворение порядка и тишины в обществе, стремятся инстинктивно и насколько им позволяет настроение его к доведению его до китайского или до индийского окаменения. Всякое государство имеет целью победу смерти над жизнью. Особенно всероссийское государство, которому для достижения этой цели представляется, с одной стороны, пожалуй, меньше затруднений, чем государствам западным. Россия по характеру своему страна полуазиатская, долго страдавшая безличностью, или, что все равно, патриархальностью отношения лица к семье, к общине, к государственной власти. Общественная инициатива, до сих пор еще весьма слабая, принадлежит в ней не лицу, а общине, а в последней, опять-таки не лицу, а семье, то есть главе семейства. Лицо в ней сознательно подчинено, робко, бесправно: «я миру не указчик!». Но без личной самостоятельности, без личной инициативы и мысли, без личного бунта нет прогресса. Вот чего не должны бы забывать наши славянофилы и вообще все слепые поклонники русской

